

Пролог



Все в мире проходит. Живет — умирает...
Куда ж оно делось? Откуда взялось?
Ни глупый, ни мудрый про это не знает.
Извечно ведется: одно зацвело —
другое увяло, навеки увяло...
И ветры сухую листву разнесли.
А солнце встает, как и прежде вставало,
и звезды плывут, как, бывало, плыли
и плыть всегда будут, и ты, белолицый,
по синему небу ты будешь гулять
и будешь смотреться в болотце, в криницу,
в бескрайнее море — и будешь сиять,
как над Вавилоном, над его садами
и над тем, что будет с нашими сынами.
Конца ты не знаешь! Люблю толковать,
делиться с тобою, как с братом, с сестрою,
и петь тебе песни твои же спроста...
Скажи ты мне ныне: как быть мне с тоскою?
Я не одинокий, я не сирота:
Есть у меня дети, да куда мне деть их?
Закопать с собою? Грех: душа жива!
Может быть, ей легче будет на том свете,
как прочтет кто-либо те слезы-слова,
Что так бескорыстно она изливала
и ночью украдкой над ними рыдала.
Нет, не закопаю. Душа-то жива!

Как синему небу, как белому свету —
ни конца, ни края душе моей нету.
А где она будет? Чудные слова!
Пуškai ее вспомнят хоть на этом свете,
бесславному тяжко его покидать.
Девчата, вам надо ее вспоминать,
она вас имела всегда на примете
И песни любила про вас напевать.
Пока солнце встанет — отдохните, дети!
Вожака вам, дети, хочу подыскать.

Сыны мои, гайдамаки!
Волен свет широкий.
Погуляйте, поищите
по себе дороги.
Сыны мои молодые,
несчастные дети,
кто без матери родимой
встретит вас на свете?..
Сыны мои, на Украину
летите орлами.
Пусть хоть горе приключится
не в чужбине с вами.
Там и ласковую душу
повстречать не чудо.
Там помогут, там наставят,
а тут... А тут — худо.
Пусть в хату — насмеются,
дурачком считают.
До того умны-учены —
солнце осуждают:
мол, зошло, да не оттуда,
да не так и село.
Мол, вот так-то лучше было б...
Что тут будешь делать?!
Надо слушать, может, вправду
не так солнце светит.
Потому — народ ученый:
знают всё на свете.
А уж вам-то к ним явиться —
как зовут — не спросят.

Поглядят, поводят носом —
и под лавку бросят.
Дескать, ладно, подождите,
найдется писака:
он по-нашему расскажет
и про гайдамаков,
а то вышел дурачина
с мертвыми словами
да какого-то Ярему
ведет перед нами.
Неуч, неуч, дурачина!
Видно, били мало.
От казачества — курганы
(что еще осталось?),
да и те давно разрыты,
ветер пыль разносит.
А он думал, слушать станем,
как слепцы гундосят.
Понапрасну ты старался,
человек хороший.
Хочешь славы, денег хочешь —
так пой про Матрешу,
про Парашу, радость нашу,
султан, паркет, шпоры.
Вот где слава! А то тянешь —
Шумит сине море...
А сам плачешь. Да с тобою
весь твой люд сермяжный...
Вот спасибо умным людям,
рассудили важно!
Только жаль, что кожух теплый
на другого шитый.
Очень умны ваши речи,
да брехней подбиты.
Не прогневайтесь, а слушать
я вас не желаю.
Вы разумны, а я глупый...
И я вас не знаю.
Я один в родимой хате
запою украдкой,
запою про то, что любо,

и заплачу сладко.
Запою — играет море,
ветер в поле ходит,
степь темнеет, и курганы
с ветром речь заводят.
Вот раскрылись, развернулись
курганы глухие,
и покрыли степь до моря
казаки лихие.
Атаманы с бунчуками
войско озирают.
Пляшут кони. А пороги
ревут, завывают.
Ревут, стонут, негодуя,
сурово бушуют.
«Чем вы, батьки, недовольны?» —
у старых спрошу я.
И ответят мне седые:
«Молчи, сиротина!
Днепр сердитый негодует,
плачет Украина...»
И я плачу. А тем часом
в жупанах богатых
идут, идут атаманы
с гетманами в хату.
Входят разом в мою хату
ради доброй встречи
и со мной про Украину
начинают речи.
Рассуждают, вспоминают,
как Сечь собирали,
как через пороги к морю
лихо проплывали.
Как гуляли в Черном море,
грелися в Скутари,
как закуривали люльки
в Польше на пожаре,
как в отчизну возвращались,
как они гуляли.
«Жарь, кобзарик, лей, шинкарик!»
бывало, кричали.



Шинкарь мечется, летает,
шинкарь так и вьется.
Кобзарь жарит, а казаки —
аж Хортица гнется —
гопака дают такого,
метелицу разом,
кухоль ходит, высыхает —
не моргнешь и глазом!
«Гуляй, паны, без жупанов,
гуляй, ветер, в поле!
Жарь, кобзарик, лей, шинкарик,
пока встанет доля!»
Друг за другом ходят кругом
парубки с дедами.
«Так-то, хлопцы! Добре, хлопцы!
Будете панами».
Пир горою. А старшины
на совете вроде:
меж собою речь заводят,
по рядам проходят.
Не стерпели, не сдержали
лихости казачьей —
припустили каблуками...
Я смеюсь и плачу.
От радости плачу, что в хате убогой,
что в мире великом я не одинок.
И в хате убогой, как в степи широкой,
казаки гуляют, гомонит лесок.
В хате предо мною сине море ходит,
темнеют курганы и тополь шумит,
тихо-тихо Гриця дивчина заводит.
Я не одинокий, людьми не забыт.

Вот где они, мои деньги,
вот где моя слава!
А за ваш совет спасибо,
за совет лукавый.
Пока жив, с меня довольно
и мертвого слова,
чтобы вылить горе, слезы...
Бывайте здоровы!
Пойду сынов-гайдамаков
в путь отправлю снова.
Может быть, найдут какого
казака седого.
Может, он их встретит лаской,
теплыми слезами.
И того с меня довольно —
пан я над панами.

Так-то, сидя в своей хате,
думаю в тревоге:
«С кем пойду и кто им будет
вожаком в дороге?»
На дворе давно светает,
встали гайдамаки.
Помолились, снарядились
добрые казаки.
Поклонились, как сироты,
печально и строго.
«Благослови,— молвят,— батько,
в дальнюю дорогу,
пожелай нам доброй доли,
радости на свете».
«Стойте, хлопцы, свет — не хата,
а вы точно дети
неразумные. Кто будет
вожаком надежным?
Кто наставит? Тяжело мне,
на душе тревожно.
Сам растил вас, мои дети,
на ноги поставил.
В свет идете, а теперь там
все книжные стали.

Не судите, что в науках
помочь не пытался.
Самого учили — били.
какой был — остался!
Тма, мна знаю, а *оксию*
не знаю доныне...
Ладно, дети, погодите:
есть вожак — не кинет.
Есть у меня батько славный
(родного-то нету!).
У него пойдем, попросим
доброго совета.
Сам он знает, что не сладко
сироте без роду;
сам — казак, душа простая,
казацкого роду,
и простое наше слово
он любит и знает,
что певала мать родная,
сына пеленая;
не чурался того слова,
что слепец под тыном
напевает, пригорюнясь,
про мать-Украину.
Любит батько песню-правду
о казацкой славе.
Любит крепко. Идем, хлопцы,
он нас не оставит.
Кабы он меня не встретил,
то, наверно б, ныне
я лежал бы под снегами
на дальней чужбине,
схоронили б меня люди,
забыли б то место...
Тяжело страдать и гибнуть...
За что — неизвестно.
Но минуло... Чтоб не снилось!
Идемте-ка, дети.
Коли мне не дал погибнуть,
запропасть на свете,
то и вас любого примет,

как родного сына.
Там помолимся — и гайда
в путь на Украину!»
Принимай поклон наш, батько!
С твоего порога
благослови моих деток
в дальнюю дорогу!

Интродукция



Было время, гордо шляхта
голову носила,
с москалями и с ордою
мерялась силой,
с турком, с немцем... Было время,
мало ль что бывало!
Шляхта Польшей управляла,
чванилась, гуляла.
Королем играла шляхта.
И король тот — горе! —
так скажу: не Ян Собеский,
не Стефан Баторий!



Все другие перед шляхтой
в рот воды набрали.
Сеймы, сеймики ревели,
соседи молчали.
Да смотрели, как из Польши
короли сбегали,
да слушали, как шляхетство
глотки надрывает.
«Nie pozwalam! Nie pozwalam!» —
шляхта завывает.
А магнаты палят хаты,
сабли закаляют.
Испокон дела такие
творились в державе,
да уселся Понятовский
на престол в Варшаве.



Станислав II Понятовский



Коронация Станислава II Понятовского, 1764 г.

Решил он со шляхтой быть построже
прибрать к рукам — да не сумел!
Добра хотел ей, а быть может,
еще чего-нибудь хотел.
Одно лишь слово «Nie pozwalam»
отнять у шляхты думал он
сперва... Но Польша запылала,
паны взбесились. Крик и стон...
«Гонору слово, дарма праця!
Пся крев! Прислужник москаля!»
На клич Пулавского и Паца
встает шляхетская земля...
И — разом сто конфедераций.

Разбрелись конфедераты
по Литве, Волыни,
по Молдавии, по Польше
и по Украине.
Разбрелись — и позабыли
о воле, о чести.
Сговорились с торгашами,
чтобы грабить вместе.
Что хотели, то творили,
церкви осквернили...
А в ту пору гайдамаки
ножи освятили.

Галайда



«Ярема, герш-ту, хам ленивый,
веди кобылу, да сперва
подай хозяйке туфли живо,
неси воды, руби дрова.
Корове подстели соломы,
посыпь индейкам и гусям.
Да хату вымети, Ярема.
Ярема, эй! Да стой же, хам!
Как справишься, беги в Ольшану —
хозяйке надо. Да бегом!»
Ярема слушает молчком.
Так измывался утром рано
шинкарь над бедным казаком.
Не знал Ярема о другом...
Не знал горемычный, что зрела в нем сила

что сможет высоко над небом парить,
не знал, покорялся... О, Боже мой милый,
трудно жить на свете, а хочется жить!
Любо видеть солнце, как оно сияет,
хорошо послушать, как море играет,
хорошо весною по лесу ходить,
знать, что сердце чье-то по тебе томится...
О, Боже мой милый, как радостно жить.



Сирота Ярема, сирота убогий,
ни сестры, ни брата — никого не знал.
Вырос у хозяйских, у чужих порогов,
но не проклял доли, людей не ругал.
И за что ругать их? Разве они знают,
кого встретить лаской, кого истязать?
При готовой доле пусть себе гуляют,
а сиротам долю самим добывать.
Бывает, заплачет Ярема украдкой
и то не о том, что невесело жить,
что-нибудь припомнит, помечтает сладко.
Да и за работу. Живи — не тужи.
Мать, отец не в радость, светлые палаты,
если не с кем сердце сердцу поверять.
Сирота Ярема — сирота богатый:
есть ему с кем плакать, кого утешать.
Есть карие очи — звездами сияют,
есть белые руки — нежно обнимают,
есть девичье сердце — согрето любовью,
что плачет, смеется, стучит, затихает,
над сиротским изголовьем
среди ночи витает.
Вот такой-то мой Ярема,

сирота богатый.
Был и я таким когда-то,
да прошло, девчата.
Поразвеевалось, минуло,
и следа не видно.
Плачет сердце, как припомню...
горько и обидно.
Куда все девалось, куда запропало?
Легче было б слезы, тоску выливать.
Люди увидали, ведь им было мало:
«Зачем ему доля? Лучше отобрать.
Он и так богатый!...»
Богат на заплаты
да еще на слезы — кому утирать?
Доля моя, доля! Где тебя искать?
Вернись, моя доля, вернись в мою хату,
приснись мне хотя бы... Не хочется спать!

Люди добрые, простите,
что не к ряду начал.
Про свою запел недолю...
да не мог иначе.
Может, встретимся, покамест
еще ковыляю
за Яремою по свету,
а может... не знаю.
Худо, люди! Всюду — худо!
Нет нигде отрады.
Куда гнут, как говорится,
туда гнуться надо.
Гнуться молча, улыбаться,
не подавать виду,
чтобы люди не узнали
про твою обиду.
Пусть их ласка... достается
тому, кто доволен,
пусть во сне ее не видит
сиротская доля!
И рассказывать постыло,
и молчать нет силы.
Лейся ж, слово! Лейтесь, слезы,

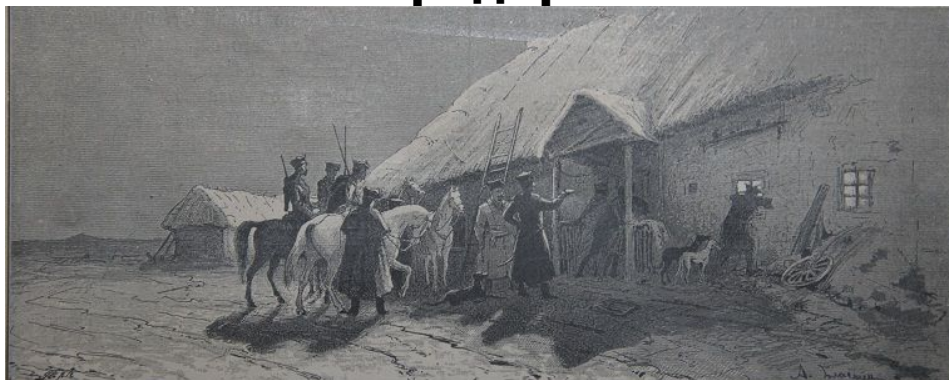
чтобы легче было.
Я поплачу, поделюсь
моими слезами —
да не с братом, не с сестрою, —
с глухими стенами
на чужбине. А покамест
корчму приоткроем:
что там делается?



Лейба
согнулся дугою,
у постели над светильней
считает монеты.
А в постели — вся раскрыта
и полураздета —
спит еврейка молодая
на жарких подушках,
разметалась, раскидалась,
томно ей и душно.
Спит тревожно, беспокойно, —
одинокой тяжко,
ночью словом обменяться
не с кем ей, бедняжке,
хороша, бела еврейка!
Что-то шепчет пылко!
Это — дочь. Отец же — рядом,
чертова копилка.
Дальше — Хайка, спит хозяйка

в перинах поганных.
Где ж Ярема? Тот шагает
по пути в Ольшану.

Конфедераты



«Открывай живей, Иуда,
пока не битый ты у нас!
Ломайте двери, ждуть докуда,
прокуда старый!»
«Я сейчас! Сейчас, постойте!..»
«Или с нами
шутить задумал? Что там ждуть!
Ломайте двери!»
«Я? С панами?
Как можно? Дайте только встать!
(А сам: «Вот свиньи-то!») Как можно?»
«Ломайте двери, что смотреть!»
«Прошу панов ясновельможных...»
Упала дверь, взвилась плетть,
метнулся Лейба с перепугу.
«На, лукавый, на, поганный,
На, свиное ухо!»
За ударами удары
посыпались глухо.
«Не шутите, ваша милость!
Прошу, прошу в хату!»
«На еще раз! На еще раз!
Получай, проклятый».
Поздоровались. «Где дочка?»
«Померла, панове...»
«Лжешь, Иуда!» Снова плети.

«Носи на здоровье!..»
«Ой, паночки-голубочки,
в живых ее нету!»
«Брешешь, шельма».
«Провались я
на месте на этом».
«Признавайся, куда спрятал.
поганая рожа!»
«Померла. Не стал бы прятать,
карай меня, Боже!»
«Ха, ха, ха, ха! Литанию
читает, лукавый,
а не крестится!»
«Панове, не умею, право».
«Вот так!» Лях перекрестился,
а за ним Иуда.
«Браво, браво, окрестили!
За такое чудо
магарыч с тебя придется,
слышишь, окрещенный,
магарыч!»
«Сейчас! Минутку!»
Ревут оглашенно.
Поставец, горилки полный,
по столу гуляет.
«Еще Польска не згинела», —
не в лад запевают.
А хозяин окрещенный
из погреба в хату
знай шныряет, наливает,
а конфедераты
знай кричат: «Горилки! Меду!»
Лейба суется.
«Эй, собака, где цимбалы?! —
ходят половицы. —
Краковяк играй, мазурку,
давай по порядку!»
Лейба служит, хоть бормочет:
«панская ухватка!..»
«Ладно, будет. Запевай-ка».
«Не могу, не стану».

«Запоешь, да будет поздно!»
«Что же петь вам? Ганну?..
«Жила-была Ганна
в хате при дороге,
божилася
и клялася,
что не служат ноги;
на панщину не ходила,
охала, стонала,
только к хлопцам,
что ни вечер,
в потемках шныряла».
«Будет, будет. Не годится,
схизматская песня!
Пой другую!» — «А какую?
Вот такую если:
перед паном Федором,
ходит жид ходором,
и задком
и передком —
перед паном Федорком».



«Ладно, хватит! Плати деньги!»
«Как? За что же плата?»
«А ты думал, даром слушать
будем мы, проклятый?..
Думал, шутим? Доставай-ка
да плати, небитый».

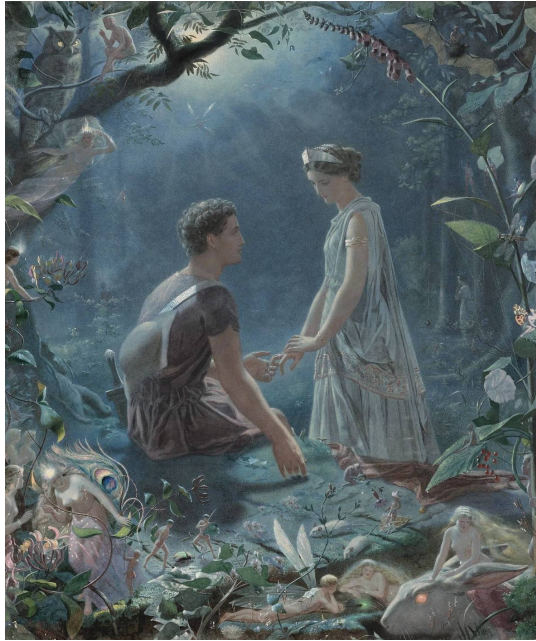
«Где же взять мне? Ласка ваша —
вот весь мой прибыток».
«Лжешь, собака! Плати деньги!
Доставай — да быстро!»
И пошли гулять нагайки
по спине со свистом.
Вдоль и поперек стегали,
аж клочья летело.
«Нету, нету ни копейки,
режьте мое тело!
Ни копейки! Гвалт! Спасите! —
кричит Лейба криком. —
Погодите... Я скажу вам...»
«Скажи-ка, скажи-ка!
Да опять брехать не вздумай,
брехня не поможет».
«Нет... В Ольшане...»
«Твои деньги?»
«Мои? Спаси, боже!..
Я хотел сказать... В Ольшане,
там живут схизматы...»
«Да! Живут по три семейства
на каждую хату?
Знаем, знаем! Мы их сами
туда посогнажи».
«Нет, не то... Прошу прощенья,—
чтоб беды не знали,
чтоб вам только деньги снились!
Ктитора там в Ольшане.
Может, слышали, есть дочка
у него, Оксана.
Спаси, боже, как красива,
да и деньги тоже...
Не его, а все же деньги,
хоть они и божьи...»
«Лишь бы деньги! Правда, Лейба,
лучше и не скажешь.
А чтоб справдилась та правда,
дорогу покажешь.
Собирайся!» Поскакали
прямоком в Ольшану.

Лишь один в корчме под лавкой
конфедерат пьяный.
Встать не может, распростерся,
как мертвое тело:
«My zyjemy, my zyjemy,
Polska nie zginela».

Ктитор

«В лесу, в лесочке
не веет ветер;
высоко месяц,
и звезды светят.
Выйди, голубка,
я поджидаю.
Хоть на часок ты
приди, родная!
Хоть погорюем
да поворкуем.
Сегодня ночью
уйду далеко.
Прощусь, расстанусь
с тобой до срока.
Выгляни, пташка,
моя отрада.
Проститься надо...
Ох, тяжело, тяжело».
Так поет себе Ярема
в роще той затишной,
поджидает, но Оксаны
не видно, не слышно.
Светят звезды. Среди неба —
месяц белолицый.
Соловей поет, и верба
никнет над криницей.
Соловей над речкой песню
так и разливает,
словно знает, что дивчину
казак поджидает.
А Ярема ходит-бродит,

все ему не мило.
«Зачем меня мать родная
красой наделила?...
Доля да удача ко мне не идут.
Годы молодые даром пропадут.
Один я на свете, без роду, а доля —
сиротская доля, что былинка в поле,
холодные ветры ее унесут, —
и меня вот люди не хотят приветить.
За что ж отвернулись? Что я сирота?
Одно было сердце, одна на всем свете
душа — моя радость — да, видно, и та
и та отвернулась...»
Заплакал убогий,
заплакал и слезы утер рукавом:
«Бывай же здорова! В далекой дороге
найду либо долю, либо за Днепром
голову сложу я. А ты не заплачешь,
А ты не увидишь, как буду лежать,
как выключет ворон те очи казачьи,
те, что ты любила нежно целовать.
Забудь же про слезы сироты-бедняги,
забудь, что клялася. Найдется другой!
Я тебе не пара, я хожу в сермяге,
ктиторовой дочке нужен не такой.
Люби кого хочешь. Что себя неволить!
Забудь меня, пташка, забудь обо всем.
А коли услышишь, что в далеком поле
голову сложил я, помолись тайком.
Хоть одна ты, мое сердце,
вспомни добрым словом».
И заплакал, подпершился
посошком дубовым.
Плачет тихо, одиноко...
Обернулся, глянул:
осторожно по опушке
крадется Оксана.
Все забыл... Бежит навстречу...
Друг к другу припали.
«Сердце!» Долго одно это
слово повторяли.



«Будет, сердце!» — «Нет, немножко...
Еще, сизокрылый!
Возьми душу! Еще, милый!
Как я истомилась!»
«Звездочка моя, ты с неба,
ясная, слетела!»
Стелет свитку. Улыбнулась,
на ту свитку села.
«Сам садись со мною рядом,
обними же, милый!»
«Где не ты, звездочка, так долго
и кому светила?»
«Я сегодня запоздала:
отец занедужил,
до сих пор за ним смотрела...»
«А я и не нужен?»
«Ну, какой ты, вот, ей-богу!»
И слеза блеснула.
«Я шучу, шучу, голубка».
«Шутки!» Улыбнулась.
И склонилась головкой,
будто бы уснула.
«Слышь, Оксана, пошутил я,
не думал обидеть.
Глянь же, глянь же на меня ты:
не скоро увидишь.
Завтра буду я далеко,

далеко, Оксана...
Завтра ночью нож свяченный
в Чигрине достану.
С тем ножом себе добуду
золото и славу,
привезу тебе наряды,
богатую справу.
Как гетманша, сядешь в кресло,
завидуйте, люди!
Стану тобой любоваться...»
«А может, забудешь?..
Будешь в Киеве с панами
ходить важным паном,
найдешь панну-белоручку,
забудешь Оксану».
«Разве ж есть тебя красивей?..
«Может быть... Не знаю...»
«Не грехи! На белом свете
краше нет, родная!
Ни на небе, ни за небом,
ни за синим морем...»
«Перестань же, что ты, милый,
нашел о чем спорить
по-пустому!»
«Нет, родная...»
И снова и снова
целовались, обнимались
они что ни слово,
обнимались крепко-крепко,
то вместе молчали,
то плакали, то клялися
и вновь начинали.
Говорил он ей, как вместе
славно жить им будет,
как он долю и богатство
сам себе добудет.
Как вырежут панов-ляхов
всех на Украине,
как он будет красоваться,
если сам не сгинет.
Говорил... Девчата, слушать

противно, ей-богу!..
Не противно, говорите?
Зато отец строгий
либо мать, когда застанет
вас за книжкой этой,
тут греха не оберешься —
сживут вас со света.
Ну, да что про то и думать,
занятно же, право!
А еще бы рассказать вам,
как казак чернявый
над водою, под ветлою,
прощаясь, тоскует,
а Оксана, как голубка,
воркует, целует.
Вот заплакала, сомлела,
голову склонила:
«Мое сердце! Моя радость!
Соколик мой милый!»
Даже вербы нагибались
послушать те речи.
Нет, довольно с вас, девчата,
а то близко вечер...
Не годится против ночи:
приснится такое...
Пусть их тихо разойдутся,
как сошлись, двое.
Пусть еще раз обнимутся
и разнимут руки,
чтоб никто их слез не видел,
горькой их разлуки.
Пусть... Кто знает, приведется ль
им на этом свете
вновь увидеться. Посмотрим...
Мудрено ответить.

А у ктитора в окошках
свет. Не спит, похоже.
Надо глянуть, но и видеть
не дай того, Боже!...
Не дай того видеть среди мирной хаты,

за людей от срама сердцу не страдать.
Гляньте, посмотрите: то конфедераты,
люди, что собрались волю защищать!
Вот и защищают. Да падет проклятье
на их мать родную, что их зачала,
на день тот, в который собак родила.
Гляньте, что творится у ктитора в хате.
Адские творятся на свете дела!
В печи — огонь. Огнем вся хата
освещена. В углу дрожит,
как пес, шинкарь. Конфедераты
терзают ктитора: «Скажи,
где деньги, если хочешь жить!»
Но тот молчит. Скрутили руки,
об землю грохнули. Молчит,
ни слова ктитор... «Мало муки!
Смолы сюда! Заговорит!
Кропи его! Вот так! Что — стынет?
А ну — горячею золой!
И рта, проклятый, не разинет!
Однако, бестия! Постой!
Давай еще побольше жару!
Да в темя — гвоздик! Что смола!»



Старик не вынес адской кары,
упал бедняга. Отошла
душа его без отпущенья...
«Оксана... дочь!» И все слова...
И палачи в недоуменье:
«Что делать дальше? Ничего,

панове, бросимте его,
запалим церковь!»
«Помогите, кто в Бога верует! Спасите!»
С надворья крик. Стучатся в двери.
В смятенье ляхи: кто такой?
Оксана вдруг: «Убили! Звери!»
И падает. А лях старшой
уже махнул рукою своре —
и та понуро вышла вон,
И сам за ней выходит вскоре
с Оксаной на руках...
Где ж он, Ярема? Что не заступился?
Не оглянулся? Он идет
и песню старую поет,
как Наливайко с ляхом бился.
И ляхи тронулись вперед,
с собою захватив Оксану.



И снова стихнула Ольшана.
Собаки гавкнут, замолчат.
Сияет месяц. Люди спят.
И ктитор сжит. Вовек не встанет;
он не проснется поутру.
Светец мигает через силу...
Погас... И как бы вздрогнул труп...
И темень в хате наступила.

Праздник в Чигирине



Гетманы седые, если бы вы встали,
встали, посмотрели на свой Чигирин,
что вы созидали, где вы управляли,—
заплакали б горько и вы — не узнали
умолкнувшей славы убогих руин.
Базары — где строилось войско шумливо,
где оно, бывало, морем гомонит,
где ясновельможный на коне ретивом...
Взмахнет булавою — море закипит.
Закипело — разлилося
степями, ярами.
Вражьи силы отступают
перед казаками. Ну, да что там!
Все минуло! О том не вздыхайте,
Не вздыхайте, мои друзья,
и не поминайте.
Что с того, что вспомнишь славу?
Вспомнишь и заплачешь.
А каков он нынче, город,
Чигирин казачий?
Из-за леса, из тумана
месяц выплывает,
багровеет, круглолицый,
горит, не сияет.
Не иначе, что не хочет
свет свой тратить даром:
нынче ночью Украину
осветят пожары.
Потемнело — и в Чигирине
мрачно, как в могиле.

(В эту ночь по всей Украине
огни не светили,
в ночь под праздник Маковея,
как ножи святили).
Только совы за заставой
на выгоне выли.
Только тень летучей мыши
прошмыгнет случайно.
Где же люди? Над Тясмином,
в темной роще, тайно
собрались. Старый, малый,
босой и обутый —
все сошлись, ожидают
великой минуты.
Средь темного леса, зеленой дубровы
стреноженны кони отаву жуют.
Оседланы кони, к походу готовы,
куда-то поскачут? Кого повезут?
А что там за люди в затишье долины
лежат, притаившись? Лежат себе, ждут.
Лежат гайдамаки... На зов Украины
орлы прилетели. Они разнесут
врагам своим кару,
за кровь и пожары
жестокую кару они воздадут!
Оружье на возах лежит,
ножи — железною таранью —
императрицын дар восстанью.
Дарила — знала — угодит!
Пускай царицу на том свете
не оскорбят намеки эти!
Среди возов народ стоит,
казачья сила налетела —
со всей округи казаки:
и юноши и старики
на доброе собрались дело.
И ходят меж возов старшины,
в киреях черных, как один,
беседуют спокойно, чинно,
поглядывая на Чигрин.

Старшина первый. Старый Головатый что-то мудрит слишком.

Старшина второй. Умная голова! Сидит себе на хуторе, будто не знает ничего, а посмотришь — везде Головатый. «Если сам, говорит, не покончу дело — сыну передам!»

Старшина третий. Да и сын — тоже штука! Я вчера встретился с Зализняком; такое рассказывает про него, что ну его! «Кошевым, говорит, будет, да и только; а может, еще и гетманом, ежели...»

Старшина второй. А Гонта на что? А Зализняк? Гонте сама... сама писала: «Если говорит...»

Старшина первый. Тише! Сдается, звонят!

Старшина второй. Да нет, это люди гомонят...

Старшина первый. Догомонятся, что ляхи услышат. Ох, старые головы да разумные! Чудят, чудят, да и сделают из лемеха шило. Где можно с метком, там торбы не надо. Купили хрену — надо съесть; плачьте, глаза, хоть вон повылазьте: видели, что покупали, — деньгам не пропадать! А то думают, думают, ни вслух, ни молча, а ляхи догадаются — вот тебе и пшик! Что там за сходка? Почему они не звонят? Чем народ остановишь, чтоб не шумел? Не десять душ, а, слава богу, вся Смелянщина, коли не вся Украина. Вон, слышите, поют.

Старшина третий. Правда, поет кто-то. Пойду остановлю.

Старшина первый. Не надо. Пусть себе поют, лишь бы не громко.

Второй старшина. Это, должно быть, Валах. Не утерпел-таки, старый дурень: поет — да и только.

Третий старшина. А славно поет. Когда ни послушаешь — все другую. Подкрадемся, братцы, да послушаем. А тем временем зазвонят.

Старшина первый и второй. А что ж? И пойдем!

Старшина третий. Добре, пойдем!

Старшины тихо стали за дубом, а под дубом сидит слепой кобзарь, вокруг него запорожцы и гайдамаки.

Кобзарь поет медленно и негромко:

«Ой, валахи! Как мало

вас на свете осталось!

И вы, молдаваны,

теперь вы не паны.

Господари не даром
служат верно татарам
да турецким султанам.
Вы в цепях, молдаваны!
Ладно! Будет журиться,
время Богу молиться.
Поднимайтесь-ка с нами,
с нами — с казаками.
Помянем, молдаваны,
гетмана Богдана.
Будете панами —
поднимайтесь с ножами,
как мы, со святыми,
при батеньке Максиме.
Мы на ночь погуляем.
Ляхов погоняем,
да так погуляем,
что ад содрогнется,
земля затрясется,
небо запылает.
Добре погуляем!..»

Запорожец. Добре погуляем! Правду старый поет, коли не врет. А что б из него за кобзарь был, кабы, он не валах!

Кобзарь. Да я и не валах,— так только: был когда-то в Валахии, а люди и зовут Валахом, сам не знаю за что,

Запорожец. Ну да все равно. Затяни еще какую-нибудь. А ну-ка, про батенька Максима ахни!

Гайдамак. Да не громко, чтоб не слышали старшины.

Запорожец. А что нам ваши старшины? Услышат — так послушают, коли есть чем слушать, вот и всё. У нас один старшой — батенько Максим; а он как услышит, то еще рубль даст. Пой, старче божий, не слушай его.

Гайдамак. Да оно так, дружок; я это и сам знаю, да вот что: не так паны, как подпанки, а еще: дока солнце взойдет, роса глаза выест.

Запорожец. Брехня! Пой, старче божий, какую знаешь, а то и звона не дождемся — заснем.

Все вместе. Правда, заснем; спой нам что-нибудь.

Кобзарь (поет):

«Летит орел, летит сизый
да под небесами.

Зализняк гуляет батько
степями, лесами.
Ой, летает сизокрылый,
а за ним орлята.
Ой, гуляет славный батько,
а за ним — ребята.
Те ребята — запорожцы,
сыновья Максима.
Обо всем толкует с ними
батько их родимый.
Он запляшет — все запляшут,
земля затрясется.
Запоет он — все подтянут,
горе засмеется.
Поставцом горилку тянет,
чаркою не любит,
а врага в бою, не глядя,
найдет и загубит.
Вот таков-то у нас батько,
орел сизокрылый,
и воюет и танцует
со всей мочи-силы.
Нет ни хутора, ни хаты,
ни стада, ни сада.
Степь да море — на просторе
богатство и слава.
Берегитесь нынче, ляхи,
горе вам, собаки!
Зализняк идет к вам в гости,
а с ним гайдамаки».

Запорожец. Вот ото — да! Отколол, ничего не скажешь:
и складно и правда. Хорошо, право, хорошо. Что захочет —
то так и режет. Спасибо, спасибо!

Гайдамак. Я что-то не раскусил, что он пел про
гайдамаков.

Запорожец. Какой же ты бестолковый, право! Видишь,
вот что он пел: чтоб ляхи поганые, бешеные собаки,
калялись, потому идет Зализняк Черным шляхом с
гайдамаками, чтоб ляхов, видишь, резать...

Гайдамак. И вешать и мучить! Хорошо, ей-богу,
хорошо! Ну, так! Право, дал бы рубль, если б не пропил

вчера. Жаль! Ну, пускай старая вязнет — больше мяса будет. Сделай одолжение, будь ласков,— завтра отдам. Хвати еще что-нибудь про гайдамаков.

Кобзарь. До денег я не очень жаден. Была б ваша ласка слушать,— дока не охрип, буду петь; а охрипну — чарочку-другую той «ледащицы-живицы», как это говорится, да снова. Слушайте ж, панове-громада!

«Ночевали гайдамаки
в зеленой дуброве,
на лугу ходили кони
в седлах наготове...
Ночевали паны-ляхи
в шинках с шинкарями,
напились, растянулись,
да и...»

Все. Стой-ка. Кажется, звонят. Слышишь? Еще раз, о!..

«Зазвонили, зазвонили!» —
покатилось эхо.
«Поднимайтесь-ка, а песня —
делу не помеха».
Повалили гайдамаки,
а ж стон по дуброве.
На плечах возы до церкви
понесли воловьи.
А Валах за ними следом
затянул суровой:
«Ночевали гайдамаки
в зеленой дуброве...»
Ковыляет, напевает
потихоньку старый.
«Дай другую, старче божий,
поддай, поддай жару!»
И с возами в пляс пустились.
плясовую грянул:
«Так-то, хлопцы, добре, хлопцы,
а я не отстану.
Ахнем, хлопцы!»
Заходила
земля под ногами.
А Валах на кобзе режет,
додает словами:

«Ой, гоп таки-так!
Кличет Ганну казак:
«Иди, Ганна, побалую,
иди, Ганна, поцелую.
Пойдем, Ганна, до попа
Богу помолиться.
Нету жита ни снопа —
бурьян колосится».
Оженился, зажурился,
нужда одолела.
Дети голы, а их батько
поет то и дело:
«И по хате ты-ны-ны,
и по сеням ты-ны-ны,
пеки, жинка, блины,
ты-ны-ны, ты-ны-ны!..»
«Добре, добре! Дай еще раз!» —
Кричат гайдамаки.
«Ой, гоп, диво, диво,
наварили ляхи пива,
а мы будем пировать,
панов-ляхов угощать,
панов-ляхов угощая,
с панянками поиграем,
ой, гоп таки-так!
Кличет панну казак:
«Панна, пташка моя,
панна, доля моя!
Не стыдися, дай мне ручку, —
нечего стыдиться!
Пускай людям горе снится, —
будем веселиться!
Запоем, затынем,
друг на дружку глянем.
Панна, пташка моя,
панна, доля моя!»
«Еще! Еще!»
«Кабы если б или так, или сяк,
кабы если б запорожский казак!
Кабы если б молодой, молодой,
хоть по хате походил бы со мной,

страх как мне не хочется
да со старым морочиться! Кабы если б...»

«Цыц! Ошалели! Что за погань!
Поете здесь, да в час такой,
да где! — у Божьего порога!
Все ты затеял, пес слепой!» —
так атаман кричит.
И встали у церкви хлопцы.
Клир поет. Попы с кадилами, с крестами
идут, идут. Затих народ.
Кропя оружие, меж возами
попы торжественно прошли.
Хоругви следом пронесли,
как на святой над куличами.
«Молитесь, братия, молитесь! —
так благочинный возгласил.
Восстанет стража из могил
на помощь. Духом укрепитесь!
Не даст Господь Чигрин распять,
а вы Украину охраняйте,
не дайте матери, не дайте
в руках у палача стенать.
От Конашевича доныне
пожар не гаснет, люди мрут,
томятся в тюрьмах, на чужбине...
А дети в нехристях растут,
казачьи дети. А девчата —
земли украинской краса —
посрамлены, в руках у катов.
И непокрытая коса
сечется с горя. Кари очи
в неволе гаснут: расковать
казак сестру свою не хочет
и не стыдится сам стонать
в ярме у ляха. Горе, горе!
Молитесь, дети! Страшный суд
нам ляхи-палачи несут!
И разольется крови море...
А вспомним гетманов своих:
Богдана вспомним, Остраницу.

Кто знает, где могилы их,
где их священный прах хранится?
Где Наливайка славный прах?
Кто плакал на его могиле?
Кощунственно в глухих степях
враги их пепел распылили.
Они поруганы. Не встанут.
Не встанет праведник Богун,
чтоб зимний запрудить Ингул
телами шляхты.
Нет Богдана,
чтоб Воды Желтые и Рось
окрасить кровью, как бывало.
и Корсунь — город древней славы —
тоскует нынче. Довелось
угаснуть в забытии на свете.
А Альта плачет: «Где Тарас?
Не слышно... Нет. Не в батька дети!»
Не плачьте, братия: за нас
и души праведных, и сила
архистратига Михаила, —
не за горами кары час.
Молитесь, братия!..»
Молились, молились с верой казаки
по-детски чисто. Не журились
и не гадали, чтоб спустились
над их могилами платки.
Вся и слава — что платочек
на кресте накинута...
А диакон возглашает:
«Враги да погинут!...
Братия, ножи берите!
Благослови, Боже...»
«Освятили! Освятили!»
Аж мороз по коже.
«Освятили, освятили!
Шляхта да погинет!..»
И ножи те заблестели
по всей Украине.

Третьи петухи

И день еще под игом катов
стонал народ. Еще один
земля носила их, проклятых,
и плакал древний Чигирин.
Тот день прошел, день Маковея,
что многих праздников святее,
прошел,— и лях и жидовин
горилкой, кровью упивались,
кляли схизмата, распинали,
кляли, что нечего и взять.
А гайдамаки молча ждали,
покуда ляхи лягут спать.
Легли, поганые, не знали,
что завтра им уже не встать.
Заснули ляхи, а Иуды
еще не спят в ночной тиши,
впотьмах считают барыши,
над золотой склонившись грудок.
И так, на золоте своем,
нечистым задремали сном.

Заснули — навеки, даст Бог, улеглись...
А в ту пору месяц плывет озирать
и небо, и звезды, и землю, и море,
и счастье людское, и горькое горе, —
чтоб господу Богу про все рассказать.
Светит белолицый на всю Украину...
Видит ли он с неба мою сиротину,
видит ли Оксану, мою сироту?
Кто ее терзает, где она страдает,
знает ли Ярема? Или знать не знает, —
мы после увидим, а нынче не ту,
не ту, а другую я песню сыграю.
Горе — не девчата — будет танцевать;
спою про неволю, казацкую долю, —
слушайте, чтоб детям после рассказать.
Чтобы дети знали, внукам рассказали,
как казаки шляхту мукам предавали

за все, что от шляхты пришлось испытать.

Испокон веков Украина
не знала покоя,
по степям ее широким
кровь текла рекою.
Текла, текла — пересохла.
Степи зеленеют.
Спят казаки, спят вояки, —
курганы синеют.
Да кому о дедах вспомнить,
поплакать над ними?
Не горька их доля внукам,
не дорого имя.
Только ветер тихо-тихо
повеет порою,
только росы, будто слезы,
окропят, омоют.
Солнце ласковое встанет,
осушит, пригреет.
Что же внуки? Все равно им —
панам жито сеют.
Много их, а кто укажет,
где Гонты могила?
Где легла его святая
праведная сила?
Зализняк, душа родная,
где лежит зарытый?
Тяжело! Палач на троне,
а они забыты.

Испокон веков Украина
не знала покоя,
по степям ее широким
кровь текла рекою.
День и ночь — пальба, сраженья,
земля стонет, гнется.
Жутко, больно, а как вспомнишь —
сердце усмехнется...
Месяц яснокрылый, брат мой одинокий,
укройся за тучей, за горой высокой.

Не гляди на землю, хоть и видел Рось,
И Альту, и Сену, хоть и пролилось
там не мало крови людской понапрасну —
то ли нынче будет! Закатися, ясный,
спрячься, друг любимый, чтоб не довелось
на старости плакать...

Грустно, грустно среди неба
светит месяц смутный.
Вдоль Днепра казак: шагает —
с вечеринки будто.
Он шагает невеселый,
еле служат ноги.
Не дивчина ль осмеяла
за жупан убогий?
Нет, дивчина его любит,
хоть жупан залатан.
Добрый хлопец, а не сгинет —
будет и богатый.
Что ж идет он невеселый,
идет, чуть не плачет?
Что поникнул молодою
головой казачьей?
Чует сердце, да не скажет,
что за горе встретит...
А вокруг — как будто люди
вымерли на свете.
Петухов еще не слышно,
собаки замолкли,
заунывно в отдаленье
завывают волки.
Хоть бы что! Идет Ярема,
спешит не в Ольшану,
не к своей зазнобе милой, —
на ляхов поганных,
на Черкасы. Скоро третьих
петухов заслышит...
Ну, а там... глядит Ярема,
волны Днепр колышет...

«Ой, Днепр мой могучий, стремяся к низовью,

от крови казацкой бывал ты багрян,
и море ты красил казацкою кровью,
да сам еще не был от крови той пьян.
А нынче упьешься. Кромешное пламя
над всей Украиной в ночи заревет,
и хлынет ручьями, волнами, реками
кровь шляхты поганой; казак оживет.
Гетманы воскреснут в жупанах старинных,
вольной песней станут грозные слов»:
«Врагов мы прогнали!»
И над Украиной,
о, Боже великий, блеснет булава!»

Так думал Ярема в одежде убогой,
с ножом освященным идя на врагов.
А Днепр — он подслушал — могучий, широкий,
поднял волны-горы, и у берегов
грозно волны завывают,
лозы нагибают.
Гром грохочет, а молнии
тучи рассекают.
Напрямик идет Ярема,
головы не прячет.
Одна дума улыбнется,
Другая заплачет...
«Там Оксана, там весело
и в худой одеже,
А тут, а тут — сам не знаю —
пропаду, быть может!»
Вдруг — недалний из-за леса
Петух: кукареку!!!
«А! Черкасы! Боже правый,
не убавь мне веку!»

Кровавый пир



Зазвонили по Украине
со всех колоколен,
загуляли гайдамаки
да на вольной воле.
«Смерть шляхетству! Погуляем,
тучи разогреем!»
Запылала Смелянщина
и Корсунь за нею.
А Медведевка давно уж
небо подпекает.
Горит Смела; Смелянщина
кровью подплывает.
Полыхают разом Канев,
Чигирин, Черкассы.
Черный шлях окутан дымом,
и кровь полилася
до Волыни. На Полесье
Гонта пир справляет.
Зализняк же в Смелянщине
саблю закаляет
да в Черкассах, где Ярема
поспевает рядом.
«Добре, хлопцы, режьте ляхов,
никому пощады!»
Зализняк своих казаков
в дыму окликает.
Ад кромешный, а по аду
казаки гуляют.

А Ярема губит ляхов
с Максимом бок о бок.
Так и косит! «Добре, хлопец,
тряси их хвороба!
Валяй, хлопец! В раю будешь,
а то есаулом.
Нуте, детки!» Переполнен
город криком, гулом.
В лавках, в каменных палатах
души не осталось.
«Подсчитаю! Добро, хлопцы,
отдохните малость».
Город трупами завален,
улицы, базары,
черной кровью подплывают.
«Мало ляхам кары!...»
Недорезанных кончали:
не встанут, собаки!
Собралися, запрудили
площадь гайдамаки.
Зализняк зовет Ярему,
тот идет, смущаясь.
Батько снова: «Поди, хлопец,
не бойсь, не кусаюсь».
«Не боюсь». Снимает шапку
перед атаманом.
«Кто ты будешь и откуда?»
«Я-то? Из Ольшаны».
«Это где конфедераты
ктитора убили?»
«Где? Какого?..»
«Там, в Ольшане.
И дочь захватили,
дочь, дивчину, может, знаешь?»
«Дочку?! Из Ольшаны?»
«Да, у ктитора. Не помнишь?»
«Оксана! Оксана!» —
только вымолвил Ярема,
как сноп повалился.
«Эге!.. Вон что! Жалко хлопца,
славно хлопец бился!»

Отдышался. «Батько, брат мой!
Что я не сторукий?
Дайте нож мне, дайте силу,
муки ляхам, муки!
Да такой, чтоб под землею
пекло занемело!»
«Добро, сынок. Ножей хватит
на святое дело.
Гайда с нами до Лысянки,
там ножи наточим».
«Иду, батько, иду, милый,
веди куда хочешь.
Хоть за море, на край света
пойду с атаманом.
Палача, злодея-ляха,
под землей достану
с того света... Только, батько,
найду ли Оксану?..»
«Там увидим... Как зовут-то?»
«Яремою звали».
«Так. А прозвище какое?»
«Прозвища не дали».
«Что, безродный? Ну, да ладно.
Запиши, Микола,
хлопца в список. Пускай будет...
Пускай будет... Голый.
Пиши Голым...»
«Не годится».
«Ну, пиши... Бедою».
«Тоже худо».
«ТЬфу ты, черт вас!
Пиши Галайдою.»



Записали. «Ну, Галайда,
с нами в путь-дорогу.
Найдешь долю, а быть может...
Нуте, хлопцы, трогай!»
Конь нашелся для Яремы —
дали из обоза.
Рад бедняга; улыбнулся
да и снова в слезы.
Выехали за ворота —
в зареве Черкассы.
«В сборе, детки?»
«В сборе, батько!»
«Гайда!»
Понеслася
правым берегом днепровским
казачья ватага.
И кобзарь за нею следом, —
где трюшком; где шагом,—
поспевает на лошадке,
песню запекает:
«Гайдамаки, гайдамаки! Зализняк гуляет!..»
Едут, едут... а Черкассы
позади пылают.
Ну, и ладно! И не смотрят,
шляхту проклинаят.
Кому шутки, кому песни —
кобзарь наготове.

Зализняк же едет молча,
нахмутивши брови.
Курит люльку, смотрит зорко
вдаль перед собою.
А за ним Ярема едет,
поник головою.
Темный лес, днепровский берег,
горы, звезды, небо,
счастье, доля и недоля,
люди, быль и небыль —
все пропало, отступило,
не видит, не знает.
Как убитый. Только тяжело
изредка вздыхает.
Но не плачет, нет, не плачет,
хотя слезы душат, —
злоба лютою змеею
охватила душу...
«Ой вы, слезы, мои слезы,
смойте мое горе!
Тяжко, больно! Только знаю —
ни синего моря,
ни Днепра не хватит нынче,
чтобы горю кануть.
Душу, что ли, загубить мне?...
Оксана! Оксана!..
Где ты, где ты, моя радость,
что жизни дороже?
Хоть приснися, покажися...
Где ты? Гибнешь, может?
Может, горькую судьбину
клянeshь ты, Оксана?
Может, мученица, стонeshь
в застенке у пана,
да Ярему вспоминаeshь,
родную Ольшану...
Сердце мое! Лети, сердце!
Обними Оксану!
Обоймемся, позабудем
все на белом свете.
Пускай ляхи жгут, пытаются —

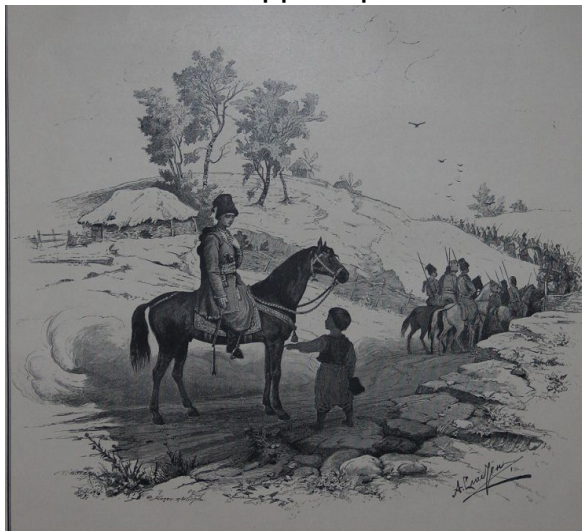
не услышим!... Ветер,
ветер веет от Лимана,
гнется тополь в поле,
и дивчина туда гнется,
куда гнет недоля.
Потоскует, погорюет,
забудет... и, может...
Станет панной, гордой, чванной...
А лях... Боже, Боже!..
Карай пеклом мою душу,
сожги адским жаром,
карай, Боже, мукой вечной,
но не тою карой!
Будь хоть каменное сердце —
не вынесет раны.
Моя доля, моя радость,
Оксана! Оксана!
Куда скрылась-удалилась,
приди покажися!»
Вдруг — и слезы полилися, —
откуда взялися!
Не велит казакам батько
нынче ехать дало.
«К лесу, хлопцы! Вон светает,
и кони устали.
Покормить бы!» Своротили.
И в лесу пропали.

Гупаливщина

Встало солнце. Украина
дымилась, пылала.
Где в живых осталась шляхта, —
запершись дрожала.
А по виселицам в селах
ляхи в ряд висели
чином старшие. На прочих
веревек жалели.
По улицам, по дорогам —
груды трупов с ночи.

Псы грызут их, а вороны
выклевали очи...
По дворам везде остались
дети да собаки.
Даже бабы, взяв ухваты,
ушли в гайдамаки.
И творилось такое
по родным округам...
Хуже ада... За что ж люди
губили друг друга?..
Поглядеть — такие ж люди,
жить, водить бы дружбу.
не умели, не хотели —
разделиться нужно!
Захотели братской крови, —
потому — у брата
и скотина, и холстина,
и светлая хата.
«Убьем брата, спалим хату!»
И пошла работа.
Ну, убили! А на муки
остались сироты.
Подросли в слезах, в неволе,
развязали руки,
ножи взяли. И зуб за зуб,
и муки за муки!
Сердцу больно, как помыслить:
что людей побито!
Столько крови! Кто ж виновен?
Ксендзы, езуиты...
Проносились гайдамаки
степями, лесами.
А за ними и Ярема
с горем да слезами.
Вот минули Вороновку,
Вербовку; в Ольшану
прискакали. «Не спросить ли
кого про Оксану?
Нет, не надо, пусть не знают,
за что пропадаю».
Кони скачут. Гайдамаки

село покидают.
Наклоняется к мальчонке:
«Ктитора убили?»
«Да нет, дядька, не убили —
на огне спалили
и Оксану, дочку, взяли.
А ты кого ищешь?
Коли ктитора, то даром:
лежит на кладбище...»



Не дослушал и галопом
вороного кинул.
«Лучше б я вчера, не зная,
не ведая, сгинул.
А сегодня я и мертвый
из могилы встану
ляхов мучить. Сердце мое!
Оксана! Оксана! Где ты?..»
Стихнул, зажурился.
Сдержал вороного.
Горе тяжкое, немое
охватило снова.
Поравнялся со своими
за хутором старым.
Где корчма была — огнище,
и Лейбы не стало.
Усмехнулся мой Ярема,
грустно усмехнулся.
«Вот где, вот где я недавно
перед Лейбой гнулся!

А сегодня...» И взгрустнулось
о том, что минуло.
А ватага у оврага
с дороги свернула.
Догоняют мальчугана;
на спине котомка,
лапти, рваная сермяга...
Окликнули громко:
«Эй, убогий, погоди-ка!»
«Я не нищий, пане».
«Ну, а кто ж ты?»
«Гайдамака!»
«Ишь ты как, поганец!..»
«Сам-то дальний?»
«Кирилловский»
«А Будища слышал?»
«Знаю, как же!»
«А озеро?»
«Озеро повыше,
вон где озеро. Езжайте
тропинкой вот этой».
«Много ляхов нынче видел?»
«То-то вот что нету!
А вчера их было пропасть!
Венков не святили
из-за них, собак проклятых, —
за то ж их и били!...
И мы с батькой их карали,
а мать все хворает, —
а то б тоже...»
«Добре, хлопец! — Зализняк кивает.
Вот возьми себе на память
об этой дороге
золотой».
«Спасибо, пане!..»
«Ну, казаки, трогай!
Да без гомону, потише!
Галайда, за мною!
Там вон озеро в долине
и лес под горою.
А в лесу добро зарыто, —

как подъедем, скажешь,
чтобы хлопцы окружили,
может, кто на страже
там остался».
Подъезжают,
встали вокруг леса.
Смотрят, смотрят — нету ляхов.
«Да тут их до беса!
Гляньте, хлопцы, на деревья,
сшибайте проклятых!» —
и посыпались, как груши,
вниз конфедераты.
«Поживей сшибайте, хлопцы,
будут знать, как лазить!
Вот так славная потеха —
как бы да не сглазить!»
Отыскали гайдамаки
потайные ямы,
все забрали, что годилось,
и в Лысянку прямо
поскакали...

Пир в Лысянке

Над Лысянкой клубы дыма
к небу повалили:
Зализняк да Гонта люльки
на ночь закурили.
Страшно, страшно закурили,
земля пламенеет.
Вряд ли даже в преисподней
так курить умеют!
Багровеет Тикич кровью
евреев да ляхов.
Горят хаты и палаты, —
заодно — все прахом...
И богачи с голытьбою...
А среди базара
Зализняк гуляет с Гонтой;
«Кара ляхам, кара!»

Чтоб покалялись собаки —
всех подряд карают.



Стоны, слезы. Один молит,
другой проклинаят,
третий кается напрасно
перед мертвым братом.
Старикам пощады нету
и малым ребятам.
Не милуют гайдамаки,
не щадят, зверея,
ни красу, ни возраст юный
шляхтянок, евреек.
Ни убогих, ни здоровых,
ни калек горбатых
не осталось, — не спаслися
от грозной расплаты.
Ни души — легли все, пали,
свершилася кара.
Трупы стынут, багровеет
небо от пожара.
Разгорелся, распылался
под самые тучи.
А Галайда всюду слышен:
«Мучить ляхов, мучить!»
Как безумный, мертвых режет,
рубит как попало.
«Дайте ляха, дайте пана,
мало крови, мало!
Дайте ляха, дайте крови

тех собак поганных!
Море крови!.. Мало моря!
Оксана! Оксана!
Где ты?» — крикнет, пропадает
в полымя пожара.
А тем часом гайдамаки
столы средь базара
расплавил. Отовсюду
несут, несут блюда.
Собирают, накрывают, —
тешат свою удаль.
«Пейте, лейте!» Загуляли.
А вокруг что было:
трупы панские, качаясь,
висят на стропилах
Обгорелых. Вдруг стропила
пламенем обнимет —
треск да искры! «Пейте, детки,
с панами такими,
может, встретимся еще раз —
Авось не сплошаем!»
И черпак единым духом
бацько осушает.
«За собачьи эти труды,
за собачьи души
пью, казаки! Пейте, детки!
Выпьем, Гонта, друже!
Выпьем, выпьем, погуляем
заедино, вместе!
Где Валах наш? Запевай-ка
веселую песню!
Не про дедов — сами шляхту
караем не хуже!
Не про горе, потому что
живем, а не тужим.
Грянь веселую такую,
чтоб земля ломилась!
Про вдовицу-молодицу,
как она журилась!»

Кобзарь (играет и припевает):

«От села до села
праздник, пир великий.
Я курицу продала,
ношу черевички.
От села до села
танцевать пойду я.
Ни коровы, ни вола, —
в хате ветер дует.
Я отдам, я продам
куму свою хатку.
На виду, на ходу
поставлю палатку.
Стану я торговать
горилкою горькой
да гулять, танцевать
с молодыми только!
Ох вы, детки мои,
я вас пожалею.
Поглядите, как танцую, —
станет веселее.
Я в батрачки пойду,
деток в школу отдам,
своим новым черевичкам
таки дам, таки дам!»

«Славно! Славно! Плясовую!
Поддай жару в ноги!»
Заиграл кобзарь, пустились
посреди дороги.
Ходит площадь. «Ну-ка, Гонта
тряхнем стариною,
пока живы — погуляем,
притопнем ногою!»

«Не смотрите вы, девчата,
что я обтрепался...
Родной батько делал гладко, —
я в него удался».
«Добре, братец! Ей-же-Богу!»
«Дорогу Максиму!»
«Погодите ж!»

«Даром, что ли, так поется:
люблю дочку, чью придется, —
хоть попову, хоть дьячкову,
хоть и просто мужикову».
Все танцуют, а Галайда
на гулянье плачет.



У стола сидит печальный,
слез своих не прячет.
А с чего бы ему плакать?
Сидит себе паном:
есть и деньги, есть и слава,
да нету Оксаны;
Не с кем долей поделиться,
не с кем веселиться,
сиротою довелось
на свете томиться.
И не знает, не гадают,
что его Оксана
за рекой, в плену у ляхов,
у панов тех самых,
что отца ее убили.
Над нею глумились,
хвост поджали — убежали,
в страхе притаились.
Только слушаете, сидя
за стеной надежной,
стоны братьев! А Оксана

в окошко тревожно
смотрит, смотрит на пожары.
«Где-то ты, мой сокол?»
А того она не знает,
Что он недалеко,
здесь, в Лысянке, да не в прежней
старой свитке рваной.
В жупане сидит, горюет:
«где моя Оксана?
Где она, моя голубка,
томится да плачет?..»
А в потемках вдоль заборов,
в кирее казачьей
идет кто-то...
«Что за люди?» —
казак окликает.
«Я посыльный пана Гонты,
пускай он гуляет,
подожду я».
«Ловок, Лейба,
ловок, жид, однако!»
«Спаси, Боже, — не был жидом.
Видишь — гайдамака.
Вот копейка — знак имею».
«Да напрасно ищешь...»
И свяченый вынимает
из-за голенища.



«Признавайся, пес лукавый,
ты привел в Ольшану

в дом ктитора ляхов пьяных?
Я шутить не стану.
Я батрак твой. Я Ярема.
Узнаешь, поганный?
Говори же, признавайся:
где моя Оксана?»
Замахнулся.
«Спаси, Боже...
За рекой... у пана...»
«Выручай же, а иначе —
протянешь ты ноги».
«Добре, добре... Ах, какой вы,
пан Ярема, строгий!...
Тотчас все исполню. Деньги
и стену ломают.
Скажу ляхам: вместо Паца...»
«Ладно. Понимаю.
Лети духом».
«Добре, пане,
вы себе гуляйте,
да часок-другой... покамест
Гонту забавляйте.
А куда везти Оксану?»
«В Лебедин... к монашкам».
С Гонтой весело танцует.
Жупан нараспашку.
Зализняк же берет кобзу:
«Потанцуй-ка, старый! Я сыграю!»
И вприсядку слепец среди базара
чесет рваными лаптями,
говорит словами:
«В огороде пастернак, пастернак;
чем я тебе не казак, не казак?
Иль я тебя не люблю, не люблю?
Иль я тебе черевичков не куплю?
Куплю, куплю, черноброва,
куплю, куплю пару новых.
Буду часто ходить,
Буду крепко любить».
Ой, гоп-гопака!
Полюбила казака,

некрасивого, рябого
да седого старика.
Иди, доля, за бедою,
а ты, старый, за водою,
а я сбегаю в шинок.
Выпью чарку да другую,
выпью пятую, шестую,
да и хватит мне, ей-ей!
Пляшет баба, а за ней
выбегает воробей,
так и чешет — людей тешит.
Веселей, воробей!
Рябой, старый бабу кличет,
а та ему дулю тычет:
«Оженился, сатана,
нет ни хлеба, ни пшена!
Надо деток воспитать,
обувать, одевать.
А я буду добывать,
а ты, старый, не греши,
а ты зыбку колыши,
да замри — не дыши!»
«Как была я молодою, жила весело я,
По-над ставней новый фартучек повесила я.
Кто идет — не минет,
то кивнет, то моргнет,
а я шелком вышиваю
и в окошечко киваю.
Надевайте, хлопцы, свитки,
ожидаю у калитки.
Погуляем, хлопцы, вместе,
заиграем, хлопцы, песни».
«Загоняйте квочку в бочку,
а цыпляток в вершу!..
И... Гу!..
Взялся батька за дугу,
а старая — за гужи.
Дочка, повод подвяжи!»
«Хватит, что ли?»
«Еще! Еще!
Сами ноги носят!»

«В миску хлеба накроши
да побольше квасу.
Дед да баба — оба рады,—
тюрька задалася!
Квасу, квасу подливай
да кроши петрушку...
Квасу, квасу подливай,
кроши больше хрену.
А дед бабе...
Ой, лей воду, воду,
поищи-ка броду, броду!..»
«Будет, будет! — крикнул Гонта.—
Хватит! Погуляли!
Поздно, хлопцы. А где Лейба,
Лейбу не видали?
Найти Лейбу и повесить!
Где он, сын собачий?
Гайда, хлопцы! Погасает
каганец казачий!»
А Галайда атаману:
Погуляем, батько!
При пожаре на базаре
и светло и гладко!
Потанцуем! Играй, старый!»
«Нет, конец пирушке!
Огня, хлопцы! Дегтю! Пакли!
Волоките пушки!
Наведите на тот берег.
Думают — шучу я!»
Заревели гайдамаки:
«Добре, батько, чуем!»
Через греблю повалили,
орут, запевают.
А Галайда: «Батько, батько,
стойте, погибаю!
Погодите, не палите, —
там моя Оксана!
Хоть немного погодите,
я ее достану!»
«Ладно, ладно! Максим, братик,
приступаем, друже!

Что возиться! А ты, хлопец,
другую, не хуже облюбуйешь...»
Оглянулся:
Где он? Был иль не был?...
Взрыв гремучий. Стены вражьи
взметнулись под небо
вместе с ляхами. Что было —
пеклом запылало.
«Где ж Галайда?» — Максим кличет.
Следа не осталось...

Покамест хлопцы снаряжались,
Ярема с Лейбою пробрались
в подвалы к ляхам, и казак
Оксану вынес, чуть живую
и поскакал напропалую
на Лебедин...

Лебедин



«Сирота я из Олшаны,
сирота, бабуся...
Отца ляхи замучили,
а меня... боюсь
даже вспомнить, мое сердце,
увезли с собою.
Не расспрашивай, родная,

что было со мною.
Сколько плакала, молилась,
сердце надрывала!
Не хватало слез, голубка,
душа замирала.
Кабы знала, что увижу
друга дорогого, —
молча б вытерпела муки
за одно то слово.
Ты прости, прости, голубка,
может, согрешила,
может, Бог меня карает,
что я полюбила,
полюбила молодого.
И что тут поделать?
Полюбила, как умела,
как сердце велело.
Не за себя, не за батька
молилась в неволе, —
За него молилась Богу,
чтоб дал ему долю.
Карай, Боже, карай, правый,
все скажу, что было:
страшно молвить, чуть я душу
свою не сгубила.
И наверно б, на себя я
руки наложила,
да как вспомню сиротину, —
Боже ты мой милый!
Кто ж его на белом свете
приветит, не бросит?
Кто про долю, про недолю,
как я, порасспросит?
Кто обнимет крепко-крепко,
Как я, горевого,
кто подарит сиротине
ласковое слово?
Так я думала, бабуся,
и сердце смеялось:
я сама на свете круглой
сиротой осталась.

Только он один на свете,
один меня любит.
Как узнает, что решилась, —
и себя загубит.
Так я думала, молилась,
ждала, поджидала.
Нет и нету — не приходит,
одна я осталась!»
И заплакала. Черница
склонила над нею,
Опечалилась. «Бабуся,
скажи ты мне, где я?»
«В Лебедине, моя пташка,
ты лежишь больная».
«В Лебедине? А давно ли?»
«Третий день, родная».
«Третий, третий... Погоди-ка...
Пожар над водою...
Лейба... Вечер... Майдановка...
Зовут Галайдою...»
«Галайдой себя, Яремой
называл, родная,
тот, что спас тебя...»
«Где? Где он?!
Теперь все я знаю!..»
«На неделе обещался
за тобой явиться».
«На неделе! Близко! Близко!
Будет мне томиться!
Вышел, вышел срок, бабуся
несчастной судьбине!
Тот Галайда — мой Ярема!..
По всей Украине
его знают! Я видала,
как села пылали!
Я видала — каты-ляхи
все дрожмя дрожали,
как услышат про Галайду!
Знают они, знают,
кто такой он и откуда,
за что их карает.

Отыскал меня в неволе,
орел сизокрылый!
Прилетай же, мой соколик,
голубочек милый!
Ах, как весело на свете,
как весело стало!
Сколько дней прошло, бабуся?
Еще три осталось?
Ах, как долго!..
«Загребай, мама, жар, жар, —
будет тебе дочки жаль, жаль...»
Ах, как весело на свете!
А тебе, бабуся?»
«На тебя гляжу я, пташка,
гляжу, веселюся».
«Что ж, бабуся, не поешь ты?»
« Бывало, певала...»
Тут к вечерне зазвонили,
Оксана осталась.
А черница, помолившись,
в храм заковыляла.
Через три дня там Исая,
ликуй! возглашали:
утром рано там Оксану
с Яремой венчали.
А под вечер мой Ярема,
хлопец аккуратный,
чтоб не сердить атамана,
поскакал обратно
ляхов резать. И с Максимом
в Умани справляет
пир кровавый. А Оксана
сидит поджидает,
поджидает, не едет ли
с дружками Ярема:
чтоб из кельи взять Оксану
и ехать до дому.
Не тоскуй, молися богу,
поджидай, Оксана.
А покамест — на пожары,
на Умань я гляну.

Гонта в Умани



Похвалялись гайдамаки,
на Умань идучи:
«Из китайки да из шелка
будем драть онучи».

Проходят дни, проходит лето,
а Украина знай горит;
сироты плачут. Старших нету,
пустуют хаты. Шелестит
листва опавшая в дубровах,
гуляют тучи, солнце спит;
и слова не слышать людского,
лишь воют волки у села,
останки панские таская:
кормились ими серых стаи,
пока метель не занесла
объедки волчьи...
Но и вьюга не укрыла
палачей от кары.
Ляхи мерзли, а казаки
грелись на пожарах.
Землю, спавшую под снегом,
весна разбудила,
муравой-травой одела,
цветами покрыла.
В поле жаворонок звонкий,

соловей на вербе,
пробужденную встречают
землю песней первой.
Рай цветущий! Для кого же?
Для людей? А люди?
Ходят мимо — и не смотрят,
посмотрят — осудят.
Кровью надо подкрасить,
Осветит пожаром.
Рай земной — тогда и будет
хорошо, пожалуй...
Чего нужно? Люди, люди,
когда же вам будет
то, что есть на свете, мило?
Чудные вы люди!

Не смирила весна злобы,
не уняла крови.
Страшно видеть, а как вспомнишь, —
так было и с Троей.
Было, будет. Гайдамаки
гуляют, карают.
Где пройдут — земля пылает,
кровью подплывает.
Не родной хоть он, не кровный
сын у Максима —
поискать такого надо
хорошего сына.
Батько режет, а Ярема —
не режет, лютует,
со свяченым на пожарах
днюет и ночует.
Не милует, не минует —
карает сурово,
за ктитора платит ляхам,
за отца святого,
за Оксану... холодеет
вспомнив об Оксане...
А Максим: «Гуляй, Ярема!
Пока доля встанет,
погуляем!»

Погуляли казаки до срока,
от Киева до Умани
легли ляхи впокот.

Словно туча, гайдамаки
Умань обступили,
до рассвета, до восхода
Умань подпалили.
Подпалили, закричали:
«Карай ляхов снова!»
Покатились, отступая,
бойцы narodowi.
Побежали старцы, дети,
хворые, калеки.
«Гвалт! Ратуйте!» Полилися
кровавые реки.
Море крови. Атаманы,
стоя средь базара,
кричат разом: «Добре, хлопцы!
Кара ляхам, кара!»
Но вот ведут гайдамаки
с езуитом рядом
двух подростков. «Гонта! Гонта!
Твои, Гонта, чада.



Раз католиков ты режешь,
то зарежь и этих.
Что же смотришь? Твои, Гонта,

католики-дети.
Подрастут, тебя зарежут —
и не пожалеют...»
«Пса убейте! А щенят я —
рукою своею.
Признавайтесь перед всеми,
что веру продали!»
«Признаемся... Мать учила...
Мать... А мы не знали!..»
«Замолчите! Боже правый!..»
Собрались казаки.
«Мои дети — вражьей веры...
Чтобы видел всякий,
чтоб меня не осудили
братья гайдаки, —
не напрасно присягал я
резать ляхов-катов.
Сыны мои! Мои дети!
Малые ребята!
Что ж не режете вы ляхов?»
«Будем резать, будем!..»
«Нет, не будете, не верю;
проклятою грудью
вы кормились. Католичка
вас на свет родила.
Лучше б ночью вас приспала,
в реке б утопила!
Греха б меньше. Умерли бы,
сыны, не врагами,
А сегодня, сыны мои,
отцу горе с вами!
Поцелуйте ж меня, дети,
не я убиваю,
а присяга». И свяченный
на них подымает!
Повалились, захлебнулись.
Кровь, слова глотали:
«Тату... Тату... Мы — не ляхи!
Мы...» И замолчали.
«Закопать бы?..» — «Нет, не нужно —
католики были.

Сыны мои! Мои дети,
что вы не убили
мать родную, католичку,
что вас породила,
ту, проклятую, что грудью
своей вас кормила!
Идем, друже!»
Взял Максима,
побрели базаром.
Снова вместе закричали:
«Кара ляхам, кара!»
И карали: страшно-страшно
Умань запылала.
Ни в палатах, ни в костеле
ляхов не осталось,
все легли.
Такое видеть
прежде не случалось.
Пламя в небо полыхает,
Умань освещает.
Католическую школу
Гонта разрушает.
«Ты моих детей учила
на позор, измену!
Ты учила неразумных, —
разносите стены!
Бейте! Жгите!»
Гайдамаки стены развалили.
Головами об камень
езуитов били,
а школяров — тех в колодцах
живьем утопили.
До ночи глубокой палили и били;
души не осталось, кого бы казнить.
«Где вы, — кричит Гонта, —
людоеды, скрылись?
Детей моих съели, постыло мне жить!
Тяжело мне плакать, не с кем говорить!
Сынов моих милых навеки не стало;
где вы, мои дети? Крови, крови мало!
Шляхетской мне крови хочется испить!

Хочу, хочу видеть, как она темнеет,
как она густеет... Что ветер не веет,
ляхов не навееет! Постыло мне жить!
Тяжело мне плакать! Звезды в небе ясном!
Сокройтесь за тучу — не нужен мне свет!
Я детей зарезал! Горький я, злосчастный,
Куда притулиться? Нигде места нет!»
Так метался Гонта. А среди базара
столы гайдамаки накрывают в ряд.
Мед несут, горилку, с яствами спешат.
Над лужами крови, в зареве пожаров
пир идет последний.
«Гуляйте, сыны! Пейте — пока пьется!
Бейте — пока бьется! —
Максим возглашает. — А ну-ка, кобзарь,
ахни плясовую — пусть земля трясется
от гульбы казачьей, — такую ударь!»
И кобзарь ударил:
«А мой батько был шинкарь,
чеботарь;
а мать была пряха
да сваха.
Братья-соколы росли,
привели
и корову из дубровы
и мониста принесли.
А я себе — Христа
в монисте;
на паневе листья
да листья,
черевики да подковы.
Пойду утром я к корове,
и корову напою,
подою,
да с хлопцами постою,
постою».
«Ой, гоп среди круга!
Не журишь, моя старуха,
закрывайте, дети, дверь,
стели, старая, постель!»

Все гуляют. Где же Гонта?
Что он не гуляет?
Что не пьет он с казаками?
Что не подпевает?
Нету Гонты. Не до песен
ему — не иначе...
А кто поздно по Умани
в кирее казачьей
ходит-бродит одиноко,
как тень на кладбище,
груды мертвых разрывает,
все кого-то ищет?



Отыскал два детских тела
и пустым базаром,
пробираясь через трупы,
в зареве пожаров,
их уносит. Это Гонта,
горем удрученный,
сыновей несет, укрывши
киреею черной,
чтоб предать земле казачье
тело по порядку.
Переулками проходит
темными украдкой.
Пусть никто того не видит
и никто не знает,
как сынов хоронит Гонта
и как он рыдает.
Вынес в поле, от дороги
в сторону шагает.
и ножом копает яму.

А Умань пылает,
Озаряет степь, могилу,
детям в лица светит...
Будто спят в одежде мирно,
набегавшись, дети.
Что же Гонту в дрожь кидает,
будто клад скрывает
Гонта ночью? По Умани
его окликают.
Как не слышит — роет Гонта
ножом, что лопатой.
Сыновьям в степи готовит
просторную хату.
Приготовил. Кладет рядом
сыновей в ту хату.
Слышит Гонта, снова слышит:
«Мы не ляхи, тату!»
Кумачовый из кармана
платок вынимает.
Крестит их, целует в очи,
платком покрывает.



Покрывает по закону
головы казачьи.
Приоткрыл, взглянул еще раз.
Горько-горько плачет...
«Сыны мои! Поглядите
на мать-Украину.
За нее и вы погибли,
и я тоже сгину.

А кто меня похоронит?
В чужедальнем поле
кто заплачет надо мною?
Доля моя, доля!
Несчастливая, лихая,
горькая судьбина,
для чего детей послала,
меня не убила?
Лучше б меня проводили,
как я провожаю».
Осенил крестом последним,
землей засыпает:
«Почивайте, мои дети,
в могиле унылой.
Для сынов другой постели
мать не постелила.
Без цветов в земле холодной
почивайте, дети.
За меня молитесь Бога:
пусть на этом свете
покарает страшной карой —
иного не чаю.
Только вы меня простите,
я вам все прощаю».
Закопал, сровнял с землею,
чтоб не видно было,
чтоб никто не знал на свете
сыновей могилы.
«Почивайте. Поджидайте:
скоро постучуся.
Не дал вам дожить я веку —
сам не заживуся.
И меня убьют. Скорей бы!
Да кто закопает?
Гайдамаки! Напоследок
с ними погуляю!»

И пошел понуро Гонта,
идет, спотыкнется,
глянет Гонта на пожары,
глянет, усмехнется.

Страшно, страшно усмехался,
на степь озирался...
Вытер слезы... Будто канул —
в дыму затерялся...

Эпилог



Давно это было, как я, босоногий,
в одежде убогой, ребенком блуждал
по родной Украине, по тем по дорогам,
где Гонта когда-то с Максимом гулял.
Давно это было, как теми путями,
где шли гайдамаки, и я со слезами
бродил сиротою, годами был мал,
добру поучиться людей я искал.
Припомнил — и жалко, что горе минуло,
а с горем и юность. Когда б ты вернулась,
нынешнюю б отдал за тебя судьбу.
Вспоминаю детство, хату, степь без края,
вспоминаю батька, деда вспоминаю.
Дед еще гуляет, а батько в гробу.
Как в праздник, Минеи закрывши, бывало
и выпив с соседом по чарке по малой,
попросит он деда, чтоб тот рассказал
про то, как Украина пожаром пылала,
про Гонту, Максима, про все, что застал.
Столетние очи, как звезды, сияли,
слова находились, текли в тишине:
как Смела пылала, как ляхов карали...

И слезы соседи порой утирали,
мальчонкою плакать случалось и мне
о ктиторе бедном. В ту пору, однако,
никто и не видел, как маленький плакал.
Спасибо, дедуся, что ты приберег
в памяти столетней славу гайдамаков —
а я ее внукам передал, как мог.

Не судите меня, люди,
кому не по нраву,
что писал я не по книгам
про казачью славу.
Дед рассказывал когда-то
я за дедом следом.
Не знал старый и не ведал,
что его беседу
люди книжные услышат.
Ученые люди.
Прости, дедусь! Ну, да пусть их
как хотят, так судят.
Я к своим вернусь покамест,
довежу — не кину,
да хотя б во сне увижу
свою Украину,
где гуляли гайдамаки
с святыми ножами;
те дороги, где ходил я
босыми ногами.

Погуляли гайдамаки,
славно погуляли:
чуть не целый год шляхетской
кровью заливали
Украину. Да и стихли,
ножи притупили.
Нету Гонты, и креста нет
на его могиле.
Поразвеял буйный ветер
степью прах казачий.
Кто о нем молиться станет,
кто о нем поплачет?

Только брат, хоть не родной он,
не кровный, да лучший,
услыхал, какою мукой
Гонта был замучен, —
В первый раз, быть может, сроду
никто б не подумал!
Зализняк заплакал горько
и от горя умер.
Доконала весть лихая
в чужедальнем поле.
В чужом поле схоронили —
такая уж доля!
Грустно, грустно гайдамаки
батька схоронили.
Холм насыпали высокий,
навек простились.
Поплакали — разошлись,
кто откуда взялся...

Лишь Ярема, опершись
на посох, остался
У могилы. «Спи, мой батько,
среди чужого поля!
В родном поле нету места,
нету нашей воли.
Почивай, казак, далеко
от родного края».
И пошел Ярема степью,
слезы утирая.
Все оглядывался хлопец,
пока видно было.
А потом — одна осталась
среди степи могила.

Посеяли гайдамаки
на Украине жито.
Только жито вражьи коням
легло под копыта...
Кривда выросла, а правда
не выросла — нету.
Разошлись гайдамаки

кто куда по свету.
Под мостами на дорогах
засели иные,
А про всех такая слава
живет и донине.
Той порой и Сечь былую
дотла разорили.
На Кубани, на Дунае
казаки укрылись.
А днепровские пороги
в степи завывают:
«Схоронили сынов наших
и нас разрывают».
Ревут себе, вспоминают
про то, что минуло.
И навеки Украина,
навеки уснула.
С той поры в степях широких
жито зеленеет,
ни пальбы, ни криков бранных,
только ветер веет.
Низко вербы нагибает,
ковыль в чистом поле.
Все затихло, замолчало, —
на то божья воля.
Только деды-гайдамаки
под вечер проходят
над Днепром-рекой и песню
давнюю заводят:
«У нашего Галайды — богатая хата!
Гей, море! Славно, море!
Славно будет, Галайда!»

Предисловие

После слова — предисловие. Можно бы и без него. Так вот, видите ли: все, что я видел напечатанного,— только видел, а прочитал очень немного,— все имеет предисловие, а у меня нет. Если бы я не печатал своих «Гайдамаков», то было бы не нужно и предисловие. А если уж выпускаю в свет, то надо с чем-нибудь, чтоб не смеялись над оборванцами, чтоб не сказали: «Вот какой! Разве деды да отцы глупее были, что не выпускали в свет даже букваря без предисловия!» Да, ей-богу, да, извините, надобно предисловие. Только как же его скомпоновать? Чтобы, знаете, не было ни неправды, ни правды, а так, как все предисловия komponуются. Хоть убей, не умею: надо бы хвалить,— да стыдно, а хулить не хочется.

Начнем же уже начало книги сие: весело посмотреть на слепого кобзаря, когда он сидит с хлопцем, слепой, под тыном, и весело послушать его, когда он запоеет думу про то, что давно происходило, как боролись ляхи с казаками, весело, а... все-таки скажешь: «Слава богу, что миновало», — а особенно когда вспомнишь, что мы одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо: пусть видят сыновья и внуки, что отцы их ошибались, пусть братаются вновь со своими врагами. Пусть, житом, пшеницею, как золотом, покрыта, не размежевана останется навеки от моря и до моря славянская земля.

О том, что происходило на Украине в 1768 году, рассказываю так, как слышал от старых людей, напечатанного и критикованного ничего не читал, ведь, кажется, и нет ничего. Галайда наполовину выдуман, а смерть ольшанского ктитора правдива, — ведь есть еще люди, которые его знали. Гонта и Зализняк — атаманы этого кровавого дела, может, выведены у меня не такими, какими они были, — за это не ручаюсь. Дед мой, доброго ему здоровья, когда начинает рассказывать что-нибудь такое, что не сам видел, а слышал, то сперва скажет: «Если старые люди врут, то и я с ними».